

П Р О З А

В.Аксенов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

Течет таежная речка Пискашучка, течет, играет на километровых перекатах, собирается, застывая под кронами тальника, в дпеса, хитро из них выкатывается и бежит себе дальше. А перед сопкой Козий Пуп превращается в Козье озеро, затем огибаает сопку двумя рукавами — Пиской и Щучкой, — сливается и уже Щучкопиской тянется к великой сибирской реке. Но далее Козьего Пуа нам делать нечего, да если и появиоь вдруг какое заделье, нас туда просто-напросто не пустят. Там живут эне дяди в одинаковых одеждах, что-то старое ломают, что-то новое строят, а всякое барахло в Щучкописку шшшшш сваливают. Так вот, Козий Пуп, говорят, если смотреть на него с вертолета, походит на огромную палатку. Я в этих местах на вертолета не летал, на Козий Пуп сверху не смотрел, но в данное наблюдение охотно верю. Тем более, что говорили мне об этом люди неболтливые. Западная пола сопки заросла ельником, восточная — лесом смешанным. А по плешине от вершины на юг и на север вытянулись две длинные, не менее чем километра по четыре, улицы. И стоят на этих улицах еловые и листвяжные дома, и живут в этих домах козьепуповцы. Но козьепуповцы — это не самоназвание. Козьепуповцами их называют люди с материка. Самы же островитяне строго шшшшш делят себя на левощекинцев и правощекинцев, так как улица северной половины с речкой Щучкой есть ничто иное, как деревня Левощекино, а противоположная, с речкой Пиской, соответственно, — Правощекино. Такая вот география козьепуповского мира. И когда жителя той или другой деревни, приехавшего в районный город Бородавчанок, местный повеса окликнет вдруг на улице и спросит: "Эй, деревня с мешком, ты, случайно не козьепуповец?" — ошеломленный, но всегда осторожный козьепуповец остановится и, собравшись с мыслями, осторожно полюбопытствует: "А чево?" "Да так, — сплунув и показав фикеу, ответит повеса, — Там, у райермага, всем козьепуповцам бесплатно морды бьют и зубы чистят." "А-а, — быстро смекнет островитянин, — Не-а, парень ты меня с кем-то спутал". Тут-то как раз и следует сказать, что все мужчины острова без исключения славятся своей знаменитой козьепуповской осторожностью, по неписанным законам и правилам которой человек, семь раз проверивший, а один раз

отрезавший, либо еще не вышел из детства, либо уже впал в него, а женщины — беспредельной преданностью своим мужьям, солеными рыжиками и маринованными маслятами.

На самой макушке Козьего Пука, между Ловощекино и Правощекино, лет семь назад были построены гараж и контора, на двери которой висит табличка с разбитым в первый же день ее появления из рогатки стеклом. И чуть ли ни все козьеуповские певчонки знали, кто это сделал. На табличке по черному под зелеными буквами с зелеными подтеками сделана такая вот надпись:

министерство путей сообщения
СССР
БОРОДАВЧАНСКИЙ ДОРОЖНЫЙ
УЧАСТОК
дистанция № 2

До гаража и конторы еще ни один архитектурный ансамбль не венчал собор маковки Козьего Пука. Негласный закон запрещал какое бы ни было строительство на этой территории, как арена гладиаторов утрамбованной и препитанной кровью и потом, так как с древних времен служила она местом разрешения спорных вопросов, зачастую возникающих между ловощекинцами и правощекинцами. И ни один, даже свихнувшийся, козьеуповец не отважился бы выстроить здесь дом или поставить баню. Как-то давно сосильный поляк, не пожелавший иметь дела ни с левыми, ни с правыми козьеуповцами и не знавший их обычаев и законов, напумал сложить себе домик между ними, на маковке, и объявить при этом, что все козьеуповцы — братья. С целью благоприятного исхода своей затеи поляк ходил из избы в избу той и другой деревни и объяснял темным козьеуповцам принципы социалистического общежития. И козьеуповцы кормили его солеными рыжиками, маринованными маслятами, выikia и соглашаясь с его словами, кивали бородками. А через месяц бородавчанский пристав, приехавший на розыски исчезнувшего каторжанина и обнаруживший в ельнике, где тот валял на сруб лес, припиленную топором к ели фуражку служащего Варшавской железной дороги, в доме одного из зажиточных козьеуповцев на залитой медовухой скатерти записал в протокол так: придавлен лесной, заеден комарами, мурашами доеден.

Однако времена меняются. И вот уже семь весен подряд как по Левощекино, так и по Правощекино в Писку и в Щучку несут талые воды "доротделовский мазут". Но вовсе не просто так, не гармонии ради стоит на макушке Козьего Пуца дистанция №2, и далеко не напрасно ее существование под голубым козьепуповским небом. А козьепуповцы хоть и ворчат по поводу затекающего по весне в их огороды мазута, но поджигать гараж и контору еще не помышляют или не помышляют уже. От моста через Писку до моста через Щучку, — вся дорога, длиною в две деревенские улицы, находится под опекой и наблюдением дистанции № 2. И надо сказать, что будь я этой самой дорогой, не было бы у меня причины жаловаться на своего опекуна, не было бы раздражения от его излишней щепетильности и обиды за абсолютное безразличие. Нет, не гармонии ради стоит на макушке Козьего Пуца дистанция № 2. Если каких-то лет восемь назад в колеях козьепуповской дороги еще могла пропасть без вести взрослая свинья, то теперь по козьепуповской дороге "хоть на боку катись".

В конторе, в этой резиденции изредка наезжающего из Бородавчанска дорожного мастера Касьянова Октябриня Андреевича, над столом, на прибитых к стене деревянных планочках, висят два тетрадных листа. На одном из них, где красной пастой начертано "Соцобязательства", тракторист Левощекин Владимир Иванович и грейдерист Михаил Трофимович Нордет спокойно, без угроз сообщают о том, что они собираются сделать и, будьте уверены, сделают к концу этого года. А на другом листе тракторист и грейдерист дистанции № 2 сдержанно, без злобы и без истерики вызывают на поединок тракториста и грейдериста дистанции № 3. Я все это читал и скажу вам честно, что лично у меня никаких сомнений на счет того, чья возьмет в этой борьбе равных, не осталось. Вижу, вижу, заинтриговал. Что ж, вполне естественно ваше нетерпение хоть одним глазом взглянуть на этих славных ребят. Но, может, не сегодня? Завтра, во вторник, четырнадцатого сентября? Завтра вы заняты, у вас завтра... как вы сказали, простите... в гостях знакомая знакомой, которая хорошо знакома с подружкой жены близко знакомого с ... Ну что ж с вами делать! Будьте любезны.

Понедельник, 13 сентября... Но тут я говорю сам себе; остановись, не будь так жесток, повествователь. Ты веришь в черные понедельники и в магию чисел, ты знаешь, как начинаются и чем порою заканчиваются подобные дни. Так будь же добр, предупреди и друзей своих и дай им время подготовиться себя для встречи с самым неожиданным в столь тихом, столь затерянном уголке столь необъятной Родины.

Так вот, понедельник, 13 сентября. Утро. Утро как утро. И ничего необычного. Старые люди сообщают, что перед тем, как взойти солнцу и начаться Первая мировая война, по козлепуповскому небосводу пронеслась со свистом кайзеровская каска, а перед ее концом на многих воротах, особенно новых, за ночь проступило самое матерное слово. А тут хоть бы что. Даже ни облака — ни вчера с вечера, ни сегодня с утра. Самого обычного цвета восходящее солнце. И туман над Деской и Щучкой, кольцом опоясавший Козий Пуп. Телята, задржав хвосты, беззаботно бегающие по тронутым инеем полянам. Выпущенные после дойки, влюбленные в жизнь, коровы, карими, коровьими глазами наблюдающие за своими отпрысками. И ни одной машины. Ни одного металлического звука. И никакого затмения. Где-то там, на краю Ловощекино, скрипнули и тут же звякнули щекоткой ворота. В перспективе прямой, как ружейный прицел, улицы на фоне белого, как и предполагается, тумана показалась фигура человека, который... прошу прощения. Где-то там, на краю Правощекино, скрипнули и тут же звякнули щекоткой ворота. В перспективе такой же прямой улицы на фоне, как и предполагается, белого тумана показалась фигура человека. Воздух свеж и прозрачен. Прозрачен так, что увеличивает. И нет надобности пользоваться биноклем, чтобы понять: обе фигуры движутся друг другу навстречу. Так оно и есть. И ранним будничным утром быть иначе просто не может. Разве что с такого глубокого похмелья, когда мозг начисто забывает свою руководящую роль и начинает подшучивать над телом. Но такое если и бывает, то лишь после куцей льняской ночи, а за сентябрьскую ночь можно уже не только выспаться, но и переспать. Так что нынешним утром и Ловощекин Володя и Михаил Трофимович Нордет, оба руководствуясь здравым рассудком, идут в гараж, чтобы бок о бок расчистить и закончить бок о бок рабочий день. А пока они не постигли своей цели,

я многое успею вам рассказать.

Было вот что:

Было Правощекино, а на самом краю Правощекино, возле моста через Писку, был дом. А в доме этом жили Нордет, Нордетиха и Нордетята. Нордетята, все как один, были маленького роста, кудрявенькие и черномазенькие. Нордетиха тоже была маленького роста, черномазенькая, но не кудрявенькая. Некудрявеньким был и Нордет. А еще был высоким и сухим, как скворешня, этот самый Нордет. И когда на исходе воскресных, праздничных или просто удачных дней возвращался Нордет домой, Нордетиха, едва накинув шаль, уходила, точнее, улетучивалась к соседке, а Нордетята двенадцатью коротенькими ножками разбегались по всему Козьему Пупу. Как и все коренные козепуповки, Нордетиха славилась преданностью своему мужу, позволяя себе лишь единственную вольность, в добрые минуты жизни называя его Скворушкой, а в хулые — Скворешником. Оставшись в одиночестве и покое, Нордет, не разуваясь, что, по его понятиям, было высшим признаком настоящего мужа, отца и хозяина, ложился на кровать и маленькими бурными глазками подолгу смотрел в потолок. И, конечно, потолок то резко пачал вниз, то уносился в невероятную высь или просто-напросто вдруг начинал вращаться вокруг засиженной мухами электрической лампочки. Такое поведение потолка Нордету было не в диковинку, и поэтому его маленькие бурные глазки тускнели, тускнели и в конце-концов прикрывались урюковыми веками. Так все и было.

А еще было вот как:

Кровь в жилах Нордета не стояла. Кровь в его жилах была подчинена четкому ритму: голова — ноги, ноги — голова. Нордет этот ритм ощущал всеми фибрами души и регулярно про себя фиксировал: старые дрожжи — новые дрожжи, новые дрожжи — кажется, приехали. Четкость ритма обеспечивалась побросованной работой сердца, которое было у Нордета больше Вселенной. Вселенной, может быть, и не больше, но нашей Галлактике в этом сердце было бы где развернуться. По крайней мере вместило же оно песню длинную настолько, что, добравшись до магазина, расположенного на другом конце краю Правощекино, Нордет и до середины ее не успевал приблизиться. Песню, длинную как цыганские дороги, он попевал у прилавка и на

обратном пути. И было у этой песни два варианта: один веселый, другой печальный. Выбор варианта зависел от настроения, а настроение Нордета зависело от многого. Веселый вариант начинался так:

Расскажу вам об Нордете,
Как Нордет живет на свете.

И вот как он заканчивался:

Миру — мир, войне — война,
А Нордету — чан вина.

Второй вариант общего с первым имел только мотив, но исполнялся гораздо медленнее и обладал совершенно иным текстом. Начало у него было таким:

На планете есть предмет
Под фамилией Нордет.

И вот каким был его конец:

Как противен белый свет —
Выпить нет и денег нет.

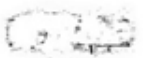
Кроме веселья и печали знал Нордет и промежуточное настроение, пребывание в котором осложняло выбор варианта и обрекало Нордета на неопишуемые душевные муки. Это обстоятельство и побудило его обратиться к автору первых двух вариантов с тем, чтобы тот в кратчайший срок /не за спасибо, конечно/ создал и третий. А пока Нордет из всех сил старался в промежуточное настроение не впадать, а оказавшись в нем /по причине затянувшегося безденежья или: "ну, ни хрена нет, хоть шаром покати"/, как можно скорее из него выкарабкаться. Добавлю еще только то, что даже Нордетиха, будучи не в силах спокойно взирать на скворушкыны страдания, встретившись как-то с автором с глазу на глаз, попросила его /не за спасибо, конечно/ о том же самом.

Но кто же этот гений, спросите вы, кто автор этих милых куплетов? И в своем предположении вы будете правы. Да, это он, Ловощекин Володя. Еще в шестом классе обследовавшие козлепуповских школьников врачи дали Володе бумажку, посмотрев на которую, представители Бородавчанского РайОНО больше никогда не донимали Володю обязательным получением восьмилетнего образования. И после этого ни одну весну и осень,

закинув удильща на плечо, ходил Володя мимо школьных окон, изводя завистливых козьеуповских учеников, на Писку, на Щучку, на Пискощучку, на Щучкописку и, конечно же, на Козье Озеро, где, вероятно, и сформировался его поэтический гений. Имел Володя, как, видимо, и полагается созревающему поэту, на лице прыщи. И были у него ясные, честные, десятикопеечного цвета глаза. В момент своего совершеннолетия, выпавший на Ильин день — самый разгар рыбалки, — Володя закинул на чердак удильща и поехал в Бородавчанск, чтобы устроиться на поэтическую работу в Бородавчанское отделение милиции. Володины прыщи и его глаза весь отдел кадров привели в величайший восторг. И быть бы уже Володе сотрудником упомянутого отделения, но возьми да и подайся кому-то на вид выданная Володе врачами пять лет назад несчастная бумажка. Так вот и остались для Володи голубой мечтой серо-голубые погоны и желтые со звездочкой пуговицы. К его огорчению, но к счастью и ликованию козьеуповских девушек. А осенью Володя поступил в Пискощучьевское профессионально-техническое училище. И уже год спустя разбирался Володя в тракторе как в стихах, а в стихах как в тракторе.

К стихосложению он подходил по-новаторски, но нет-нет да и выходил^И из-под его пера классические, хорошо рифмованные строки. Ко времени моего цвестования виршами его были подписаны две общие тетради по девятисто шесть листов. А тетради были оформлены так:

На титульном листе большими красными буквами были выведены имя и фамилия автора:

ЛЕВОЩЕКИН  ВЛАДИМИР.

Выполненная синей тушью в середине листа надпись гласила вот что:

Стихи собственного сочинения.

И чуть ниже:

Том 1

А еще ниже:

Козий Пуп, 197...год.

И заметьте, ведь не просто же "Левощекино", а — "Козий Пуп", что само по себе /не я один так думаю/ наталкивает на мысль: истинно, чужд гению пещевый патриотизм. На первой стороне

каждого листа помещён стих, а на обратном — снимок милойшей девушки из журналов "Огонек", "Работница" или "Крестьянка", и под каждым снимком — отточенное и лаконичное:

Прекрасна ты, не спорю я,
Но КТО-ТО есть и попрекрасней!

Или:

Мила, голубушка, мила,
Да есть и помилее КТО-ТО.

Я, могу вам похвалиться, видел и держал в руках оба тома, с буквально залитыми слезами козыенуповских читателей страницами, и скажу вам откровенно: я был потрясён. И, особенно в тех местах, где тоскующий дух поэта, оставляя дома, на табуретке, бренное тело, уносится в поисках Большого и Настоящего в закозыенуповские дали. А в суеорогах восторга меня оставил коротенький шедевр, в котором воображение поэта забегает за ЛЮБИМОЙ, уносит ее в те же закозыенуповские просторы и заставляет там пасть на колени и рыдать над "телом ромашки, раздавленным грубым медведем".

И вот уже совсем недавно, в первых числах сентября, все девушки от двенадцати до тридцати лет из Левощекино и Правощекино переписали в свои дневники последнее стихотворение поэта. А было оно таким:

Вот опять сентябрь закружил листву
То ли снега ждать то ль дождя
Скоро гуси принесут нам зиму
И зима в природе не здря
Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп,
И не только это не здря
Все идет своим чередом
Снега запах чует ноздря
Сердце ноет — зима за углом
Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп,
Сердце ноет хочет сказать
Не спеши сентябрь уходить
Прокричи зиме: твою мать!..
Твою мать! не спеши приходить

Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп.

Не хватает в чернилке чернил
Чтобы этот стих дописать
Сицей кляксой последних сил
Суждено видно мне умирать

Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп.

Но не умер поэт без чернил
У поэта есть карандаш
Карандаш мне Нордет одолжил
На мол возьми и шабаш

Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп.

И сказал я Нордету тогда
Век мне щедрость твою воспевать.
Пусть за трактором грейдер всегда
Будет нашу дорогу ровнять

Козий Пуп, Козий Пуп, Пуп Козий.

Многие, самые трогательные, володины стихи сопровождаемы посвящением, зашифрованным вот так: П.Л.Т. И я думаю, что не, выцам бог знает какого секрета, а даже сыграю на руку будущим литературоведам, если расшифрую эти инициалы как Правощекина Любовь Тарасовна. А заодно сообщу точное место проживания: Бородавчанский район, село Правощекино, улица Пискореченская, дом № 235. Индекса не помню. Добавлю только, что на косых воротах, косяином которых является Нордет Михаил Трофимович, дегтем почти в человеческий рост выведены цифры: 234. Описать вдохновляющую поэта деву я едва ли смогу да и, навряд ли успею, так как мой герой уже готов протянуть друг другу руки.

— Здорово, Вальдебар Рождественский, — так и сказал Михаил Трофимыч. Почему Вальдебар, он, пожалуй и сам не знает, а вот Рождественский — это прямой результат телевизионных бдений во времена власти настроения, так нуждающегося в третьем варианте его любимой песни. — Где пил? Я тебя двое суток не видел.

Володя, ответив на пожатие и освободив руку, поднял вверх ладонь и сделал ею движение, словно отгоняя клуб мажорного дыма, то и дело выплывающего изо рта Михаила Трофи-

мыча: какое там пил. Нет, он не пил. Он просто устал. Имяжен. Три ночи его не отпускала творческая лихорадка.

— Это напасть какая-то. Или прием потому что дрянь всякую. И меня тоже, пока снадобье не принял, не отпускала. Затрясало прямо, будто по колдобинам, в шипку под елкой, на телеге катишься.

Сказав это, Михаил Трофимыч так кивнул головой, словно поставил печать, подтверждающую истинность сказанного. Но Володя и без печатей верил в человеческое слово.

С шиферных крыш конторы и гаража, с обращенных к солнцу сторон, падали капли быстро таявшего инея. С синего капота и желтой кабины трактора тоже стекали и падали на гусеницы капли. А вот с грейдера ничего не капало, так как грейдер стоял в тени гаража. На наличниках окон сидели и чивкали воробьи, поглядывая на гуляющих по мазутной ограде ворон. Видно было, что воробьям нравится сидеть здесь и чивкать, а воронам — разгуливать и не каркать. Вот при каких обстоятельствах Володя в берете и в сапогах, а Михаил Трофимыч в сапогах и кепке-восьмиклинке открыли калитку и направились к своей технике.

— Вороны по земле ходят — жди хорошей погоды, — так и сказал Трофимыч, а затем добавил:

— Ах, мать твою, чуть не забыл. Мне тут вчера к ночи мысль интересная в голову пришла: почему бы им не сделать выходной не в субботу, а в понедельник, — сказал Михаил Трофимыч и гикнул на ворон. — Опять, наверно, сучки, на мое кресло насрали.

Вороны оторвались от земли, каркнули, мол, мог бы и не гикать, сами собирались, а как какали на твоё паршивое кресло, так и будем какать, и полетели в сторону ельника.

— Страмовки! — бросил им вслед Нордет, уже поднимаясь на площадку грейдера.

Открывая крышку капота и проверяя в пускате наличие бензина, Володя заметил, что Нордет колоссально не прав по отношению к этим мудрым пернатым, в которых, если "хорошенчей" к ним приглядеться, можно увидеть многие человеческие черты и привычки, которых надо любить и уважать как нашего "летучего" брата.

Михаил Трофимыч, смахивая верхонкой с дырявого железного грейдерского кресла иней и вороний помет, пробурчал: "Пусть их бабай любит и уважает. Человек-то, по крайней мере, ни один еще не пришел и не догадался наложить сюда," — а громче, так, чтобы слышал Володя, сказал:

— А ты-то как думаешь насчет выходного не в субботу, а в понедельник?

Володя насчет этого думает так: сделай выходной в понедельник, тогда понедельником станет вторник, а сделай его во вторник, тогда понедельником станет среда, так что надо уж как-нибудь привыкать к такому порядку.

Михаил Трофимыч сел в кресло, покачался и, выплюнув самокрутку, вдруг закричал:

— Ах, мать твою, чуть не забыл! Ты сочини мне песню?

С налицников сорвалось и улетело несколько воробьев. А Володя снова словно отогнал ладонью от лица махорочный дым и даже не отвлекся от мотора. Нет, он еще не сочинил. Он работал над новой поэмой.

— Опять про Любку, что ли? — уже тихо, с заметным разочарованием в голосе спросил Михаил Трофимыч, съезжая с кресла.

.. Пока это тайна. Но кто не слепой и не слабоумный, тот в одном из персонажей сможет кое-кого и угадать. Вот так вот. А песню, будь спокоен Трофимыч, Володя напишет. И дело это не за горами.

Нордет, вращая туда-сюда "штурвалы", проверил работу ножей.

— Эх, Вальдебар, Вальдебар. Не мой ты, в шишку под елкой, сын, — Трофимыч варлянул на солнце и сплонул. — Ваш же вон, левощекинский, морда эта рыжая... тот, что семь лет назад табличку нашу из рогатки разбил, в третьем году ларек с папиросами грабил, а теперь на мотоцикле кур давит, тот поэм не пишет, тот, парень, без всяких поэм вшик! — и к Любке на сеновал, — и вздохнул глубоко Михаил Трофимыч. — А я что? Мое дело соседское. Вижу да помалкиваю. Сам молодой был...

Володя намотал на шкив пускача кожаный шнур — готов был дернуть, но задержался. На его побледневшем лице выдел

лись надавленные за ночь, воспаленные прыщи. Какие-то секунды — и резкий рывок. Выхлопная труба забилась в судорогах и выплюнула первое колечко дыма. Так все это и произошло. Таким вот, наверное, и должно быть самообладание у настоящего поэта.

Поменьше первого голубые колечки, словно нимбы, затребованные потерявшими их ангелами, помеслись в небеса. И уверен я, что многие козьепуповцы в это мгновение оторвались от своих завтраков, посмотрели в окна на эти колечки и что-то подумали, а может быть, даже что-то и сказали. Но вот и все — нимбов хватило на всех. Дымок потянулся столбиком, трубу перестало трясти — дизель завелся. И заработал он так ровно, четко и красиво, что воробьи на наличниках перестали чивкать, а Нордет Михаил Трофимыч от удовольствия сдвинул на затылок кепку-восьмиклику. Вот так заработал дизель.

И не успел еще весь иней превратиться в волю и бежать с шиферных крыш, а трактор, запряженный в грейдер, уже вырुливал из гаража на тракт. Из трактора, облепотившись на открытое окно дверцы, выглядывал Володя, а Михаил Трофимыч, зажав во рту самокрутку, вращая "штурвал", готовился опустить ножи.

А вот как было заведено у них:

В период между авансом и получкой экипаж выезжает из доротделовской ограды и поворачивает в сторону Правощекино, а между получкой и авансом — в сторону Левощекино, проезжает туда-обратно одну деревню, затем другую и возвращается в гараж. Если вам сообщить, что получка была седьмого сентября а аванс будет двадцать второго, то вы и без моей помощи догадаетесь, куда повернул трактор и грейдер тринадцатого числа сего месяца. Так и есть, повернули они в сторону Левощекино. Зная это правило, любой козьепуповский первоклассник сможет бойко кому угодно ответить на вопрос: с получки ли, с аванса гуляет нынче Нордет Михаил Трофимыч? Но это только тогда, когда трактор или грейдер, сломавшись, не стоит по долгу на ремонте, а Михаил Трофимыч и Володя целыми днями не пропадают в гараже. Есть, правда, и на такой случай секретная договоренность /кстати, рассекреченная недавно козьепуповцами/: между авансом и получкой в магазин бегают Воло-

дл, а между получкой и авансом — Михаил Трофимыч.

Но вот и начался у всех козьеуповцев трудовой день. Потянулись женщины в магазин, ученики — в школу, а мужчины — по своим делам. Устает Трофимыч поднимать в приветствии руку. Устает Трофимыч прыгивать с грейдера, чтобы отогнать развалившуюся на дороге скотину. Устает Трофимыч снова забираться на свое место и кричать Володе: Паш-шел! Но ни тени огорчения в его маленьких бурых глазках. В его маленьких бурых глазках отражается маленький трактор с желтой кабиной и уж совсем малюсенький володин берет, а также и вся Щучкореченская улица с ее домиками, бегающими по ней детьми, собаками, лежащими на ее дороге коровами, и кроме того, разумеется, — бесконечные козьеуповские дали. Свесил Михаил Трофимыч свои кирзовые сапоги с высокого железного дырявого кресла, крутит свой "штурвал" туда-сюда и бормочет себе одно и то же: Эх, Вальдебар, Вальдебар, эх, жизнь наша бекова — нас пиндюрят, а нам некова. Закинул вдруг Михаил Трофимыч правую ногу на левую, резко отклонился влево и, так я и скажу, фунькнул. Сделал он эту пакость так громко, что, несмотря на грохот трактора и грейдера, идущей в магазин Ловощекиной Таисье Егоровне не было нужды гадать, зачем это Михаил Трофимыч закинул ногу на ногу и так резко отклонился влево. А Михаил Трофимыч рукой в верхонке отдал Таисье Егоровне честь и крикнул: Так точно, товарищ сержант!

Щучкореченская улица пряма как ружейный прицел, гусеницы у трактора равной длины — идет трактор ровно, — и не приходится Володе без конца и края дергать то один рычаг, то другой. Ранним утром спокоен за напарника Володя и назад он почти не оглядывается. На лобовом стекле кабины синей изолентой по углам приклеена фотография красивейшей из девушек, которые когда-либо ступали на Козий Пуп. Только покусывание верхней губы может выдать смутение в володиной душе. Спокойно лежат на рычагах его руки, корректно работают с педалями его ног. Будто само по себе приходит решение. Володя, освободив одну руку, срывает изоленту и прячет фотографию в ящичек с инструментами. Дык-дык-дык, — работает дизель, звяк-звяк-звяк, — отвечают гусеницы.

Обогрело Солнце припекло затылок и спину Михаила Тро-

фимыча. Медленно перекачиваются колеса грейдера, медленно отваливается от ножа песочный вал, медленно опускается на кепку-восемиклинку и плечи Михаила Трофимыча пыль. Смотрит Михаил Трофимыч на тут же разваливающийся песочный вал и вспоминает дороги далекой родины под Черниговым, немецкий плен, освобождение и длинный путь из лагеря на Заале — мимо своего дома — в лагерь на Щучкописке. Вспоминает Михаил Трофимыч, а рука его подсознательно ползет во внутренний карман пиджака. И ни-какой окрик, ни-какое астрономическое явление — ничто на свете — не сможет остановить эту руку. Провидение ее командир. Из кармана, стянутого широкой, приспособленной самим Михаилом Трофимычем, резинкой, рука извлекает поллитровую бутылку, занятую жидкостью цвета отвара луковой шелухи. Уподобимся, товарищ Нордет, говорит Михаил Трофимыч. И урюковые веки смыкаются. И железное дырявое кресло возносит плавно товарища Нордета к небесам, а затем плавно возвращает назад. Эх, Вальдебар, Вальдебар, многого ты в жизни не понимаешь. Скрипят колеса грейдера, скрежещет о сталь ножа галька, стряхивает оставшаяся сзади рыжая, бесхвостая собака с себя пыль. Михаил Трофимыч отрывает от кресла правую ногу, прикладывает к кепке руку в верхонке и отдает честь проходящей Лавощекиной Александре Ефимовне: так точно, товарищ сержант! Возле покосившегося от времени домика, на лавочке, сидит старый дед в валенках и с седой прокуренной бородой до красного кушака на телогрейке. Евсеевич! — кричит ему Михаил Трофимыч. — Ты, наверно, всю лавку-то уж провонял! Ась?! — негнувшись пальцами заворачивает свое ухо в сторону грейдера Лавощекин Евсеевич. Я-то-ворю, — снова кричит ему Трофимыч, — ты уж всю лавку провадел! Нет, отвечает ему дед, ногам-то ни хрена, а руки малость зябнут! — Ну и хрен с ними, пусть зябнут, глухой те-терев!

Слева, за домами, за телевизионными антеннами, за огородами к Щучке плотной стеной спускается ельник. Сочную, темную зелень его хвои лишь кое-где разрывает густо заржавевшая листва рябины или осины, чьи семена когда-то чудом каким-то, вероятно, занесло с противоположной стороны. С другой стороны улицы, прямо за огородами, покатила к речке

золотая лавина березовых крон, покати́лась, потекла, увлекая за собой малахитовые островки пихтача, бурля, словно пеной, сосновыми вершинами. И все это видит Михаил Трофимыч, и все-му радуется его душа.

Дорогделовский состав прогремел по мосту через Щучку, развернулся на другом берегу и направился в обратную сторону. Солнце к этому времени поднялось так, что освещает всю северную полу Козьего Пути. Володя скрывается от него за щитом, а Михаил Трофимыч опускает на глаза козырек кепки. Мост позади, позади и володин дом. Не на него ли теперь так часто оглядывается Володя? Нет, что-то другое беспокоит капитана экипажа. Михаил Трофимыч, замечая его беспокойство, поднимает вверх руку: будь спокоен, Вальдебар, на палубе полный порядок. Дык-дык-дык, — говорит дизель. Звяк-звяк-звяк, — отвечают гусеницы. И опять во власти Провидения рука Михаила Трофимыча. И опять высоко-высоко взмывает его душа и уже не очень охотно возвращается на место. Будь спокоен, Вальдебар Рождественский. И мы не льком шить. Так точно, товарищ сержант! Хлеба накупили! Дело это, конечно, не мудреное, но и не шуточное. А вы картошечку выкопал, Тамся Егоровна?! Вот и слава Богу. Картошечки нет и будто жрать нечего. А моя рота уж давным-давно отмучилась. Хотя, мать бы их, ртов семь, зато рук четырнадцать. Я и в огороде не показывался. А зимой-то ее, родимую, с редечкой да с кваском и беззубому за милую душу. Ага, так точно, товарищ сержант. Расскажу вам об Норде-е-те, как Нордет живет на све-е-те... И так, что с кепки посыпалась пыль, а "штурвал" — до предела туда и до предела обратно. И, конечно, все лица в окнах левощекинской восьмилетней школы были обращены к улице. Да и не только в школе, в магазине, на почте. И, безусловно, во всех домах, где к этому времени кто-то еще оставался. Только в одном месте Михаил Трофимыч прервал свою песню.

— Евсений! — закричал он. — У тебя лавка уж дымом вжалась! Да не акай, не акай, все равно ни хрена не поймешь... в шишку под елкой.

Возле ворот гаража Михаил Трофимыч кончил словами: а Нордету чай вина, — мотнул головой, стряхнул с кепки остатки пыли, и положил голову на "штурвал".

Володя остановил трактор, сбегал в гараж и принес отту-

да мешок алюминиевой проволоки. Забравшись к грейдеристу на площадку, он обмотал его вокруг талии и крепко-накрепко привязал к спинке кресла. Михаил Трофимыч поднял поникшую голову, разомкнул урюковые веки и, увидев суетившегося возле себя Володю, забормотал:

— Мхом обрастешь, а шиш когда дождешься, чтобы гренки с неба, Вальдебар, посыпались. Чудо мне показывай, мать бы его, а жизни меня учить не надо. Сам кого хочешь научу. Сам погон в рыло — и звезды из глаз. А то, что ты делаешь, — это правильно. Мастер, если и появится, то со стороны Левощекино, к конторе поднимется, вниз глянет, пыль, скажет, столбом стоит? Стоит. Грейдер, в шашку под елкой, едет? Едет. А Трохимыч на грейдере сидит? А как не сидит. А грейдер сам по себе ходит? Нет, скажет мастер, не ходит. Трактор, значит, — впереди шурует. А кто в тракторе сидит? А кто, кроме Вальдебара! Все, скажет этот дим дырявый, на дистанции у меня полный порядок. Скажет, и дыркой свись. А ты, Вальдебар, мне и руки к штурвалу примотай. Нордетиха в окно выплянется? Еще бы. Скажет, руки у Нордета на месте? Значит, у Нордета полный порядок и на палубе и в трюме. Покрепче, крепче их, чтобы они из верхонок не выпали. Не бойся, затягивай. Миру — мир, войне... Концы-то... во-во... понадежней, чтобы никакой ураган не сдул товарища Нордета с его кресла... войне — война, а Нордету чан вина.

Убедившись в надежности сделанного, Володя спрыгнул с грейдера и сел в трактор. Выжал муфту, включил передачу. Двигель дук-дук-дук, гусеницы звяк-звяк-звяк, а Володя:

— Горе горькое по свету шлялось... Гамно коровье, а не Трохимыч.

Тракторист потрогал пальцем на лбу самый большой, воспалившийся прыщ, затем открыл крышку ящичка с инструментами и, не пугаясь своей любви, посмотрел на фото. Только сияния не было вокруг этого изображения. Володя опустил крышку, положил руку на ручку рычага, а взгляд свой устремил далеко вперед, туда, где скоро покажутся зеленые наливчики и зеленый палисадник...

А солнце поднималось все выше и выше, прогревая чистый козьеуповский воздух. Тени от скворешников, домов и заборов

разворачиваясь по часовой стрелке, становились короче. Вдоль дороги то там, то здесь ходили, переваливаясь с ноги на ногу, гуси и утки. Купались в земле, вороша ее лапками, курицы. Осторожно ступая на листья подорожника и прокрадываясь между засыхающими трескучими стеблями полевой сумочки, охотились за воробьями кошки. На заборах и поленницах лежали разомлевшие коты. Черная бесхвостая собака, оставшаяся позади грейдера, стряхивала с себя пыль. И мимо всего этого в грохоте и полупремоте проезжал Михаил Трофимович.

— А ни че... еще кому угодно бôка намну. А мало будет, как тресну, что мамку не узнает. В детстве, когда коня не было, тятка на мне борону возил. Будь спокоен, хлопец, я месяца два до пенсии поработаю, а там... меня в дураках оставить трудно. Вот так вот. Фанеру достану, моторчик куплю, к моторчику пропеллер приварганю... и с аэроплана на ваши головы гадить буду. — Михаил Трофимович заерзал по креслу. — Так точно, товарищ сержант! Кашу гороховую кушать, начальник, надо.

Михаил Трофимович то умолкал, то начинал снова, его бурные глазки то открывались, то закрывались. И только однажды проснулся он, поднял голову и уставился на сидящего возле дома, на чурке, старика.

— Евсевий! — закричал Михаил Трофимович. — Руки не зябнут?!

Глухой от старости Евсевий, зная Норгета около тридцати лет и будучи уверенным в том, что ничего тот ему, Евсевию Правощекину, путного и приличного сказать не может, вместе с табачными крошками плюнул в сторону грейдера. Плюнул и довольно улыбнулся в седые усы, не заподозрив даже, что ответ его залетел в его же валенок.

— Га-га-га, кхе-кхе. Чуть небось не попал, а попал бы, дак долго жарю-то свою погану обмывал, щенок.

А Михаил Трофимович уже дремал и ехал дальше.

Вот уже и хорошо видны перила моста через речку Писку. И все ближе зеленый палисадник и зеленые наличники. Володя снова приоткрыл ящичек, достал оттуда фотографию, расправил завернувшуюся изоленту и закрепил ее на старое место. Губы

его шевелились, а выражение его лица было таким, что не оставалось сомнения: дух, витающий в тесной кабине трактора, — дух рождающегося шевера. Лично мне совсем нетрудно было догадаться, кому будет посвящен этот шевер. Но тише!

— Как просто: Любочка, Любовь, но как играет в жилах кровь и...и...не первый раз, а вновь и вновь я говорю: это любовь...я говорю себе: любовь...все говорят: это...нох говорит...э-э...— Володя на мгновение прикрыл глаза. — Как просто: Любочка, Любовь, но да-да-да-да в жилах кровь, и в сердце бабочкой любовь... — Володя разомкнул веки, нежно посмотрел портрету в глаза. И портрет ему ответил тем же. — То парх, то выпарх вновь и вновь! О Боже...

Вскочил тут на дорогу, прямо перед трактором, коричневый теленок Правощекиной Марьи Игнатьевны и пустился наутек, подпрыгивая, лягая воздух, изогнув спину и напружинив задранный вверх хвост. И знает Володя, что нет ничего удивительного в поведении этого коричневого теленка. Просто вошел в его глупую телячью голову стих, но не может он при этом, оставаясь на месте, взять да и промчаться: как прекрасен этот мир, посмотри-и! Знает об этом Володя и говорит:

— Эх ты, козявка козявкой, а туда же. А вот и они.

Да вот и они, зеленые наличники и зеленый палисадник. С какой истомой порой впиваемся мы глазами в точку на глобусе, точку, которой помечено то место, где, как мы знаем, в данное время находится наша любимая. Мы мечтаем о невозможном, чтобы точка эта каким-то чудом вдруг стала увеличиваться: вот виден уже и тот дом, вот и окно. И стены для нас... вдруг прозрачны. И, господи, уведокой нас, вот тот уголок, где сидит она, вяжет или читает, а думает о нас — и на глазах у нее слезы. А тут же! вот они: и зеленые наличники и зеленый палисадник. Даже стекла окна, за которым стоит ее кровать, сотрясаются от проезжающего трактора, играют солнечными зайчиками и травят своей посвященностью в такие тайны, какие вам и не снились. И сам дом-то совсем не такой, как все остальные дома в Правощекино, в Левощекино и во всем мире. И штакетник палисадника уж очень ровный и зеленый. И березки в палисаднике, конечно, ошупевленные. А какая девушка сидит под зеленым наличником на зеленой лавочке. Индийские джинсы. Белые, на толстой подошве и высоком каблуке, босоножки.

Красная, как кровь, мохеровая кофточка. На соломенных кудряшках синяя мохеровая шапочка. Розовый румянец. Карие глаза. И два золотых зуба. Улыбка — и зашлись в щелесте желтые листья березок, и замутился в глазах свет. А рядом с девушкой — юноша. Одна его рука на индийских джинсах, другая — на мохеровой кофточке. И рыжая голова с пестрыми глазами не сводит. Даже со стороны видно, что власть ее над ним не имеет границ. Стоит ей захохотать — он кохочет, стоит ей вдруг насупиться — он руки прочь с индийских джинсов и мохеровой кофточки. А из открытого окна "Песняры" поют. И сентябрь. И серебряные паутины в небе. Так все и было.

Лязгнуло резко шкворень. Заскрежетала смачно под дождем галька. Трофимыч, тот даже и не проснулся, когда грейдер дернуло и повлекло под яр к Писке. Трактор въехал на мост, круто дал влево и, сбив перила, окнулся в воду. Грейдер, разумеется, последовал за ним. На свечи попала вода, дизель почикал, почикал и заглох, так что трактор, не дотянув до берега метра три, остановился. Открыв наполовину залитую водой дверку, из него выбрался тракторист, спустился в реку, подняв руки, резво побрел до берега и убежал в лес. А вниз по течению уплывали обломки перил. Ближе к правому берегу из воды торчала труба, из которой еще тянулся дымок, за трубой выглядывала крыша желтой кабины, а на середине реки как-то уж совсем нелепо — голова Михаила Трофимыча. От толчка кепка-восьмиклинка съехала на глаза и из-под козырька видно было лишь рот и приподнятый над водой подбородок.

Михаил Трофимыч хоть и не коренной житель Козьего Пула, но почти за тридцать лет жизни на этом острове и он успел заразиться знаменитой козье-пуповской осторожностью, чем, пожалуй, только и можно было объяснить то, что голова его долгое время оставалась безмолвной и неподвижной, поневоле напоминая сцену из сюжетов пушкинской сказки. И несмотря на тепло сентябрьского дня, холодом веяло от этой картины.

Тихо. Холодно. Мокро. Михаил Трофимыч поморгал, почувствовал, как ресницы касаются кепочной ткани и услышал производимый при этом немалый шорох. Закрыв глаза — ощутил зрачками веки, открыл — снизу слабый свет. Нет, это не сон. Трофимыч. Да, я Трофимыч. Раз. Два. Три. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Открыл, закрыл. Открыл, закрыл. Вот, мать бы ее. Влево, впра-

во. Влево, вправо. Язык. Зубы. Десна. Михаил Трофимыч медленно потянул сырой воздух. Не чан же вина. Не торопись, Нордет, не на дороге в рай. А если и туда, если даже и в другую сторону, один хрен не торопись, не сделай так, чтобы над тобой потом люди смеялись. Не спеши, подумай на трезвую голову. Трофимыч осторожно пошевелил ушами и кожей на темени. Разговору о твоей близкой смерти не было? Не помню. Помню разговор о пенсии. А какой нынче день? Если это нынче, то понедельник. Рабочий день. Ты спишь, Трохимыч? Нет, не сплю. А как заканчивается твой рабочий день? Сегодня грейдерили, значит, как обычно: появляется баба, появляются дети, ствязывают, сажают в тележку, увозят. Потом потолок и лампочка... Так точно, това... Тише, Трохимыч, не забывайся. Шаг влево, шаг вправо — пуля в лопатке. Ох, суки. Не дрожи, не лязгай зубами. Мать бы ее, не могу не лязгать, если... Вспомниай, Трохимыч, надужь память, то. Если это рай, то — господи, прости — пропали он пропадом. Если это другое, то ладно, хрен с ним. А если это мои щенки с с-сукой старой... В моем доме такой тары нет. От Правощекина Тараса прикатили ушат? Михаил Трофимыч в злости сжал пальцы. Ага. Сиджу? Сиджу. Штурвал на месте? На месте. А с грейдером меня даже в тарасовский ушат, в штаны накладешь, но не затолкаешь. Значит, щенков моих еще не было? Нет. Ноги бы ему вырвать, этому поэту. И ни туда и ни сюда. Думай, в рот-в нос тебя, товарищ Нордет. Не могу думать, товарищ гражданин. Холод, в шинку под елкой, собачий потому что. Меня в лагере, на лесосплаве, так же морзили. Мамка, да неужто снова! Окстись, товарищ Нордет. С хрена ли снова. Раз было и на всю рошню хватит. Тогда думай, гавно, если не знаешь, где ты и за что. Михаил Трофимыч резко, стараясь при этом не шелохнуться, сжал лягодицы. Будь оно проклято. Осрамись еще. Так и до греха не далеко. Расслабившись, Трофимыч провел пальцами ног по размякшим, скользким стелькам сапог. От холода уже ломило голени, и выходил хмель. Придумал. Приду-умал. И попробовал шевелить бровями и носом, пытаюсь сдвинуть с глаз кепку, но бесполезно. Кепка села крепко, сучка. Не волнуйся, Трохимыч, хрен с ней, с кепкой. Один черт придумаем. Придумал. Шаг влево, шаг вправо — фига вам, а не побег. Возьму вот и крикну. Но помешал ком в горле. И только шепот:

— Вальдебар, — и лишь едва заметные волны от его шеи. Кричи, Трохимич. Не сидеть же тебе в этой локани. Ты же не водяной царь и не лягушка. Ты грейдерист, мать бы ее. Твоя фотография ни сегодня-завтра...

— Володька! — и понеслось эхо по Писке...

А по берегу, шурша галькой, уже бежала девушка в красной, как кровь, мохеровой кофточке, рыжий юноша, Нордетиха и Нордетята. И скоро ноги их гулко и неритмично застучали по настилу перекинутого через Писку моста. В щели между бревнами посыпались и зашлепали по воде мелкие камушки. Тятя! Тятенька! — кричали Нордетята. Запыхалась от одышки и перепуга, что-то шептала Нордетиха. А девушка и юноша бежали молча, только подошвами туфель и босоножек делая так: жич, жич.

Хорошо слышно. Может, отдастся так. Ну и все равно, если я и не совсем там, то где-то рядом. Детки мои орут.

— Михайло! Кто же тебя?! Да что ж это за такое-то, господи! Михайло! Да жив ли он, батюшки мои?!

Баба, баба моя тут же где-то квохчет. Голосистая какая, падла. В жизнь бы не подумал, что она так голосить может. А что, спрашивается, голосит?

— Михайло! Живой ли ты?! Это же я, Скворущка, Нордетиха! Совсем свихнулась. Думает, день не видел, дак уж и забыть ее успел. Тебя, холера, до смерти не забудешь. Пава, мать бы твою.

— Узнал я тебя, не вой. Лучше кепку с меня сними, дура.

— Слава тебе, господи... живой. Час, час. Как же я тебе сниму ее, Скворешник ты проклятый?!

— У тебя что, руки за день отсохли? Возьми да и сними. Я ж не прошу мне, мать твою, новую сшить. Сама снять не хочешь, дак ребятишек заставь.

— А ребятишки как! Мордой об косяк.

— Ответьте мне тогда: где я и за что?

— Ребятки, бегите-ка хоть за шестом каким, что ли. Вода-то как лед, батюшки мои. Где ты! Здесь...

— Я и без тебя знаю, что здесь, а где здесь?!

— Да как же это где, — не соображая, вероятно, от злости и горя, отвечала Нордетиха. — Ты что, сам не знаешь?!

— Знал бы, тебя бы, дуру, не спрашивал. Если есть там кто поумнее, объясните мне, пожалуйста, мать вашу, где я,

сколько мне еще там сидеть и за что надо мной такое издевательство?! От колода свихнуться можно.

— В речке ты, дядя Миша. Скоро тебя оттуда вытащат. Ты только сиди и не волнуйся. Уже побежали.

Тоже, видно, ужом-то не больно богата. Любка, наверное, тарасовская. Сиди и не волнуйся. Посмотрел бы я на тебя... Янца уже отваливаются и руки не освободить. Витька-то там, нет?

— Ви-итька!

— Че-о... хм... т-тятенька?

— Почему твой отец в речке?

— Н-не знаю, т-тятенька.

— Д ты ни хрена не знаешь. А кто завез меня в эту речку? И где Володька? Помолчи, дура! Пусть мне люди ответят.

— Володька з-завез тебя, упал с моста и у-убежал.

Он что ездить разучился. Или с головой что стряслось? Сукин сын.

— А трактор где? Молчи! Я тебе сказал, молчи. Придем домой, я тебя научу, как со мной разговаривать, если ты забыла... Слова не дает сказать. Трактор где, Витька?

— С-с тобой р-рядом.

Рядом со мной. На самом деле чекнул, что ли? Поэт зае.....!

Жич, жич, жич, жич, — говорила береговая галька, и гулко под настилом моста отдавались шаги. Слышались новые голоса. Из деревни подбегал народ. Кто-то спрашивал, кто-то отвечал, кто-то что-то советовал, а некоторые просто охали и ахали. Михаил Трофимыч узнавал людей и посылал в их адрес густо-матерное. Дрожь неожиданно прекратилась, а перетянутые проволокой кисти рук уже не чувствовались. Заложимо нос и дышать Михаилу Трофимычу приходилось ртом: а-ао, х-хао, а-ао, х-хао. На темный козырек кепки, как на экран, вынесло вдруг из памяти далекое прошлое. Октябрь сорок седьмого. Зеленая вода Щучкописки и пожухлая, хваченая первыми морозами прибрежная трава. Не завтра, так послезавтра по Щучкописке можно будет кататься на коньках. Нужно было, вернее, было приказано, в устье реки, где находился усть-щучкописковский шпалозавод, срочно сплавить последние штабеля леса. Огромный

хлыст — ствол старой лиственницы — вершиной и комлем зацепился за два стояка, торчащие из воды в десяти-двенадцати метрах от берега, и перегородил реку. В заторе километра на полтора, до верхнего кривуна, накопились будущие горбыли и шпалы. И чтобы спустить их, необходимо было перерубить этот хлыст. И вот уже ловко скачет по обледеневшим бревнам худенький, длинный, наловкий Коля, Харченко Коля, в сорок четвертом году восемнадцатилетним мальчишкой попавший в плен, а с сорок пятого года сосед Михаила Трофимыча по нарам, скачет и размахивает для балансировки топором. И развязавшиеся тесемочки шапки-ушанки вверх-вниз, вверх-вниз. А с яра, замедив среди сухих пучков пучки и белогловника, смотрят на него десятки глаз бывших солдат и офицеров. И плохо входит топор в звонкое от мороза крепкое само по себе дерево. Взмах — х-ха! взмах — х-ха! А с сосен и елей вороны в разные стороны. Кар-р, кар-р. Страмовки. Звучно уж очень раздается и разбегается по октябрьской тайге эхо. Недорубленное дерево под напором не выдержало, треснуло. И пошли. Медленно, мощно пошли будущие горбыли и шпалы. Не выпуская из рук топора, побежал паренек к берегу. И берег близко. Вот он уж. Но повернулись две скользкие лесины и лишь руками за них успел зацепиться Коля. Только кажется, что медленно идет по реке деревянная масса, бывшие солдаты и офицеры не успевают бежать за ней по глинистому берегу. Коля молчит, и они молчат. И только сердца: тах, тах, тах. До следующего кривуна бежали за ним зек. И только стои. И дальше только шапка-ушанка на обледеневшем бревне. А когда лес пронесло, выбагрили тело Коли. И не было у него целого ребра. А пока несли его в барак, покрылось оно твердой корочкой льда. Ни близких у Коли, ни родных, а теперь вот и Коли нет. Только где-то в уже вырубленном и затянутом осинником бору, среди глубоких колеи, пней и куч трухлявых сучьев, виднеется еще, наверное, холмик с истлевшим католическим крестом. Вспомнилось это, и передернулся Михаил Трофимыч всем телом.

Кто-то из мужиков потянулся шестом и столкнул с его головы кепку. Кепка хлюпнулась в воду, покружилась и стала медленно отплывать. Ослепленный, щуря глаза и ничего не видя, Михаил Трофимыч повернул голову к мосту и крикнул:

« Витька, сбегай по поворота, поймай ее!

Маленький, черномазенький, курявенький Нордетенок протиснулся между людьми, выбежал на берег и побежал исполнять отцовское приказание.

... Свыкнувшись со светом, Михаил Трофимыч смотрел на народ и слушал разговоры. Женщины кричали на мужиков, заставляя их что-нибудь придумывать — не стоять же так, не пялить глаза, не сидеть же Нордету тут по ночи. Мужики негромко отвечали им, что, дескать, нужен бульдозер, а бульдозер на ремонте, простых тракторов потребуется, как в воду плюнуть, три и не меньше. Ну и мужики пошли, вы что уж и плавать разучились или холодной воды боитесь? Вот и плывите сами, два турака будут каждый день в речку брыкаться, а мы их каждый день оттуда вытаскивать. Спасибо большое. Сидящая в окружении Нордетят и сочувствующих женщин, Нордетиха тихо плакала и без конца повторяла, глядя на стриженный затылок мужа: Скворешник, пьяница несчастный... всегда же говорила тебе, скворушка, окаанный.

И мало кто видел, как юноша перепавал девушке в красной мехеровой кофточке, часы, рубашку и брюки, а когда он спустился с моста в воду и поплыл в сторону заключенного в ней Нордета, по берегам Писки пронесся мощный народный возглас: Ох! — так, что загудел козыщуповский воздух.

— Нет, рыжий, — говорил вертавшемуся возле него юноше Михаил Трофимыч. — Тут, парень водолаз нужен. Без водолаза здесь ни крена не сделаешь. Или кусачки охрененные. Там за станину привязано, если как всегда.

И немного позже, выбравшись на мост и посинев от озноба, юноша брал из рук девушки одежду и быстро, путаясь, натягивал на себя.

Суки, собрались поглазеть. Глазейте, суки. Вас бы сюда. Посмотрел бы я на вас. Тракторов найти не могут. Гады. Гады. Вороны. Суки. Чмо поганое. Разгадделись. Сами бы уж давно вытащили. Коля, мальчишка ты недоношенный. Вмерзал бы он, этот лес к такой-то матери. Мало его на дне валется.

А на мосту уже не хватало всем места, и люди толпились по левому и правому берегу Писки. Из Левощекино, как думал Михаил Трофимович, здесь были почти все, кто еще мог "пол-

зять", а тех, кто не мог, "прикатали" на мотоциклах внуки. Был здесь и левощекинский Вася-дурачок, была здесь и Катька-дурочка из Правощакино, чей домик стоял недалеко от "дорот-дела" и куда иногда, захватив на слачу конфет, темным вечером захопил Михаил Трофимыч. Вася никому не мешал — сидел на яру, болтал ногами и, пуская длинную слюю, ел с хлебом кем-то подаренный ему соленый огурец. А Катька подходила к каждому, дергала за рукав, пристально вглядывалась в глаза и, указывая на Васю, говорила: не садись на пенек, не ешь пирожок.

С яра, запыхавшись, сбегала Левощекина Александра Ефимовна. Сначала, растолкав столпившихся на берегу и посмотрев на неподвижную голову Михаила Трофимыча, она шепотом спросила у ближайшей женщины: жив? — и, узнав, что жив, затараторила:

— А у нас-то че, девки! В Щучку же с моста машина перевернулась. Че же это такое-то, а? Пьют же не стихают. Мастер ихний, доротделовский, шофер и Тарас Правощекин. Кто из его здесь есть? Сказать бы надо. Только колеса и видно. Все, слава богу, живы, только поросенок утонул. Тарас поросенка в городе купил, а эти на машине по дороге где-то его и подобрали, ну и, это дело, без этого дела где же, как же они без него. А перед мостом колдобина. В колдобину-то ать и в реку. Перил как не бывало там сроду.

— Да ты че говоришь!

— То и говорю. Только что оттуда. Генка на мотоцикле похвез.

— Все хоть слава богу? Живы?

— Живы. Только поросенок, говорю, утонул.

— Хоть или туда...

— Час-то уж не хоци. Тут вот ведь...

Коля, беги, прыгай скорее. Еще мадость. Давай, давай! И Коля бежит. В одной руке его топор, другая — в сторону. И тесемочки шапки вверх-вниз, вверх-вниз. И под ногами Михаила Трофимыча хрустит хваченая морозом трава и скользят его ноги по ... Ну, еще немного, чуть, чуть, ну, вот... вот... Ах, мать твою! Ну, снова, начни снова. Бревно, другое, третье... помни, где как. И бежит снова Коля. Третье,

четвертое... Ну не будь же дураком... пятое, шестое, седьмое... Дурак-к! И заплакал Михаил Трофимыч.

И зашумел народ, запричитали бабы. А кто-то с яра закричал, что идут трактора и не три, а целых семь. Но ничего не слышал Михаил Трофимыч. В ушах его хрустела пожухлая трава, в глазах его маленькими светящимися точками пошел снег, а затем повалили хлопьями.

Коля, брось топор, мать бы его, отчитаемся. Беги к берегу. Давай. И бежит Коля, не бросив топора, но опять проворачиваются два облепелых бревна. И не удержать их Михаилу Трофимычу. Застылают глаза снег... Снова, Коля, снова... Но никого, только шапка-ушанка на бревне видна по Щучкописке... Коля, Колька-а! Харченко!! Нет, не беги, дурак, не беги по такому снегу. Ухватись за стояк. Я тебя вытащу. Брось топор. Ухватись... Проворачиваются большие, большие бревна. И только стружки летят, и только запах сосновых досок... Окунает Михаил Трофимыч свою седую голову в воду... Ползи, дурак. Ползком! И только свежий крест и свежий гроб из строевой сосны. И снег снова маленькими светящимися точками. И сердце: тах, тах, тах... тах, тах..... тах.

- Бля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ать! Вытащите
меня отсюда-а!!

Рванулся Михаил Трофимыч, голова его откинулась назад и бурные глазки уставились в синеву козьепуповского неба. И перестал для Михаила Трофимыча сентябрьский день быть светлым и теплым, а вода мокрой и холодной.

А когда солнце, пройдя между конторой и гаражом, готово было скрыться за маковкой Козьего Пуца, то с моста и берегов Писки уже некому было махнуть ему напоследок рукой. На прибрежном песке стояли обтекающие трактор и грейдер. И все кругом — и на мосту, и по правому, и по левому берегам Писки — было усеяно конфетными бумажками, шелухой кедровых орех и, конечно, окурками.

1984 F. 8